

«ПОД ИЖОРЫ»

В. А. Кошелев

Под цифрой VIII в цикле «*Разных годов*» третьей части собрания стихотворений Пушкина (1832) помещен следующий текст:

*Подъезжая под Ижоры,
Я взглянул на небеса
И вспомнил ваши взоры,
Ваши синие глаза.
Хоть я грустно очарован
Вашей девственной красой,
Хоть вампиром именован
Я в губернии ***;
Но колен моих пред вами
Преклонить я не посмел
И влюбленными мольбами
Вас тревожить не хотел.
Упиваясь неприятно
Хмелем светской суеты,
Позабуду, вероятно,
Ваши милые черты,
Легкий стан, движений стройность,
Осторожный разговор,
Эту скромную спокойность,
Хитрый смех и хитрый взор.
Если ж нет... по прежнему следу
В ваши мирные края
Через год опять заеду
И влюблюсь до Ноября.*

Впервые это стихотворение было напечатано в «Северных цветах на 1830 год», без подписи (имя Пушкина, правда, было указано в оглавлении) и с заглавием: «К ***». Под текстом же стояло: «1828. Ижоры».

Вопреки этой помете, к действительным Ижорам (первая почтовая станция от Петербурга по Московскому тракту) это стихотворение отношения не имеет и написано не в 1828 году, а в 1829-м. Оно упоминается (и даже цитируется) в

письме Пушкина к Алексею Вульфу от 16 октября 1829 г. из тверских Малинников, куда поэт заехал на возвратном пути с Кавказа в Петербург:

«Пав<ед> Ив<анович> стихотворствует с отличным успехом. На днях исправил он наши общие стихи следующим образом:

Подъезжая под Ижоры
Я взглянул на небеса
И вспомнил ваши взоры
Ваши синие глаза.

Не правда ли, что это очень мило» (XIV, 50).

Почему-то Пушкин величает этот шуточный экспромт «наши общие стихи» – общие с А. Н. Вульфom. Да еще и его дядюшка П. И. Вульф руку приложил. И почему-то указал неверную дату написания, – а ведь он отдал эти стихи в альманах Дельвига буквально сразу же после их написания, приехав в Петербург в ноябре 1829 г. Чем это объяснить?

Обстоятельства создания экспромта можно, кажется, восстановить на основе этого письма и сопутствующих воспоминаний. Сочинялся он, по-видимому, в два этапа, отделенные друг от друга десятью месяцами. В 1829 г., «в Крещение» (6 января), Пушкин заехал к Алексею Вульфy в уездный городок Старицу Тверской губернии. Вульф, сам тогда заехавший к родным по пути в Петербург, занимался во время святочных гуляний в Старице, как он похвалялся в своем дневнике, привычным своим «волокигством»: ухаживал за проживавшими в округе многочисленными молодými родственницами, а более всего – за пятнадцатилетней двоюродной сестрой Катенькой Вельяшевой, дочерью старшкого исправника. Предмет его страсти за год, что Вульф ее не видел, расцвела «из 14-летнего ребенка <...> прекрасною девушкою, лицом хотя не красавицею, но стройною, увлекательною в каждом движении, прелестною, как непорочность, милую и добродушную, как ее лета» (Вульф 1999: 67).

Кстати приехавший Пушкин сразу же включился в эту игру: «Он принес в наше общество немного разнообразия. Его светский блестящий ум очень приятен в обществе, особенно женском. С ним я заключил оборонительный и наступательный союз против красавиц, отчего его и прозвали сестры Мефистофелем, а меня Фаустом. Но Гретхен (Катинька Вельяшева), несмотря ни на советы Мефистофеля, ни на волокигство Фауста, осталась холодною: все старания были напрасны. Мы имели одно только удовольствие бесить Ивана Петровича (Вульфа, двоюродного брата – В. К.); образ мыслей наших оттого он назвал американским». Современница, передавая свои воспоминания о пребывании Пушкина в Старице, заметила, что поэт с Вульфom «постоянно вертелись около Е. В. Вельяшевой»: «Она была очень миленькая девушка; особенно чудные у ней были глаза. Как говорили после, они старались не оставлять ее наедине с Алексеем Николаевичем Вульфom, который любил влоблять в себя молоденьких барышень и мучить их» (Колосов 1888: 10–11).

Дальше Вульф отмечает: «После праздников поехали все по деревням; я с

Пушкиным, взяв по бутылке шампанского, которые морозили, держа на коленях, поехали к Павлу Ивановичу» (Вульф 1999: 71). Павел Иванович Вульф, третий указанный Пушкиным «соавтор» интересующего нас экспромта, отставной подпоручик и владелец усадьбы Павловское, отличался добротой и флегматичностью характера; у него приятели прожили около недели. Б. Л. Модзалевский, доверившийся помете и первому стиху экспромта, указал, что он был сочинен уже после пребывания в Павловском, «по дороге из Старицы в Петербург» (Пушкин 1928: II, 348). Это маловероятно: как же в таком случае он мог попасть к П. И. Вульфу – ибо для Пушкина, приехавшего в Павловское осенью 1829 г. эти стихи неожиданно оказались приятным напоминанием о забавах прошедших святков?

Вероятнее всего, именно в Павловском сочинялся первый (не дошедший до нас) вариант экспромта. Сочинялся он, что называется, «не всерьез» и «по горячим следам» бурного «волокутства». Там этот экспромт, скорее всего, и остался: тугодум и флегматик П. И. Вульф имел возможность «исправлять» его в течение десяти месяцев. 16 января Пушкин вместе с Алексеем Вульфом, выехал в Петербург; в своем дневнике Вульф повторяет «гастрономический» маршрут, описанный Пушкиным еще в письме к С. А. Соболевскому от 9 ноября 1826 г. (XIII, 303): упоминаются те же Торжок, баранки в Валдае и форели в Вышнем Волочке... (Вульф 1999: 72–73). Но – никаких «Ижор» и упоминаний о совместно сочинявшемся стихотворении в дневнике Вульфа нет.

Когда же в октябре 1829 г. Пушкин вновь посетил подлюбившиеся ему тверские края и застал там тех же обитателей (исключая Алексея Вульфа), он вновь вспомнил бывшие прошлой зимой любовные игры и шалости. Об этом он прямо пишет в цитированном письме к Вульфу: «Гретхен хорошеет и *час от часу делается невиннее* (Сей час А <нна> Ник <олаевна> [сестра Алексея Вульфа – В. К.] объявила, что она того не находит)» [XIV, 50]. А когда Павел Иванович «предъявил» ему исправленный экспромт, Пушкин воспринял его неожиданно всерьез и, приняв правку Вульфа-дяди (в письме она подчеркнута), стал дальше прорабатывать текст. В «первой арзрумской» тетради (ПД 841, л. 112) – именно она была тогда у поэта – он на свободной части листа дописал стихи 5–10, нарисовав рядом с ними девичий профиль, который был позднее атрибутирован как портрет Е. В. Вельяшевой (Жуйкова 1996: 92).

Но откуда все-таки взялись Ижоры, находящиеся достаточно далеко и от Павловского, и от Тверской губернии. Кстати, название самой Тверской губернии в тексте пушкинских публикаций было «зашифровано» («Я в губернии ***»), а Ижоры, не имеющие прямого отношения к творческой истории стихотворения, почему-то выпячены на первое место. Что в них такого примечательного для Пушкина?..

Первое слово в этом стихотворении – *подъезжая* – весьма значимо для Пушкина этой поры, которую биографы традиционно называют «годы странствий». Собственно *странствий*, впрочем, не было: были частые **перемещения** – из Москвы в Петербург, в Михайловское, в Тверскую губернию. Один раз Пушкин съездил на Кавказ в действующую армию – в остальных случаях лицеизрел

при этих перемещениях бесконечные почтовые тракты, одинаковые провинциальные городки срединной России. В известной эпиграмме он отметил эту обычную одинаковость:

*Есть в России город Луга
Петербургского округа;
Хуже не было б сего
Городишки на примете,
Если б не было на свете
Новоржева моего (II, 35).*

Здесь два «городишки» белорусского тракта: один «поближе» к Питеру, был начальной точкой пушкинских путешествий, другой – рядом со Святыми Горами и Михайловским – конечной их точкой. Оба в общем-то одинаковы, по-своему эмблематичны, с набором обязательных строений уездного или заштатного града: собор на центральной площади, присутственные места, торговые ряды, пожарная каланча да бесконечные, похожие друг на друга обывательские избы с огородами. Еще одинаковей – почтовые станции. Чуть позднее Ивану Петровичу Белкину доверит Пушкин собственные впечатления: «...в течение почти двадцати лет сряду изъездил я Россию по всем направлениям; почти все почтовые тракты мне известны; несколько поколений ямщиков мне знакомы; редко-редко смотрителя не знаю я в лицо, с редким не имел я дела...» (VIII, 97).

Среди множества почтовых станций Ижоры – для петербуржца – были станцией особенной. Это была *ближайшая* к Петербургу почтовая станция по самому шумному и живому Московскому тракту. 15 апреля 1834 г. Пушкин, например, провожал «до Ижоры» жену с двумя маленькими детьми, уезжавшую в Полотняный Завод (XII, 326). Ижоры воспринимались как своего рода рубеж: для петербуржца, выезжавшего из столицы, эта станция начинала череду множества других, на нее похожих. Если же он возвращался из путешествия, то именно после Ижор его ожидал, наконец, долгожданный дом – стоит лишь этот, последний, рубеж преодолеть.

Эта же близость к столице иногда придавала Ижорам особенное значение в обстоятельствах чрезвычайных. Так, летом 1831 г. депутаты от бунтовщиков из военных поселений «пришли в Ижору с повинной головою» и были приняты государем (XII, 199). Более того: река, по имени которой была названа станция, в свое время дала название всей будущей Петербургской губернии – «Ижорская земля», лежащая «при Финском заливе» (она упомянута в «Истории Петра»: X, 45). На реке Ижоре в 1702 г. адмирал Апраксин одержал одну из первых побед в Северной войне (X, 61). Позднее, когда эта местность стала вполне «освоенной», «победы» такого рода стали восприниматься иронически; ср. у Козьмы Пруткова: «На берегах Ижоры и Тосны / Наши гвардейцы победоносны».

Но для Пушкина само звучание этого топонима – Ижора – имело дополнительную семантическую окраску. Как раз в 1827–1829 гг. Пушкин узнал, что томящийся в крепости В. К. Кюхельбекер сочиняет новое большое произведе-

ние – мистерию *«Ижорский»*. Полностью текста этой мистерии он к тому времени еще не читал (Кюхельбекер переправит ее петербургским друзьям весной-летом 1830 г.), но, несомненно, знал два опубликованных из нее фрагмента*. Позднее (в 1833 г.) Пушкин возьмет на себя труд добиться разрешения этой мистерии к печати, а спустя два года – выпустит ее без указания, конечно, имени автора (См.: Смирнов-Сокольский 1962: 416–419). Вполне «литературная» фамилия героя этой мистерии станет «незаконной» заменой «запрещенной» фамилии автора, а упоминание того гидронима, от которого образована эта фамилия, субъективно для Пушкина означало воспоминание о Кюхельбекере.

Это имеет прямое отношение к интересующему нас экспромту. При его первоначальном создании – соответственно обстановке написания шутиwego коллективного экспромта – топоним «Ижоры» возник в соответствии с рифмой (*Ижоры – взоры*) был вполне случаен и не имел особенного семантического значения. Но когда Пушкин десять месяцев спустя вновь услышал от П. И. Вульфа этот экспромт, он должен был обратить на этот топоним особенное внимание – «Ижоры» связались в его сознании как раз с образом Кюхельбекера. Показательно, что в обоих сохранившихся списках стихотворений, предназначенных для включения в третий том, этот экспромт носит сокращенное заглавие *«Под Ижоры»* (Рукою Пушкина 1935: 256, 260): Пушкин произвольно выделяет ключевое слово, важное для него прежде всего.

Более того: те фрагменты мистерии Кюхельбекера, которые были опубликованы к тому времени, когда составлялось пушкинское стихотворение, не имевшее к поэту-узнику ни малейшего отношения, – эти фрагменты странным образом соотносятся с ним.

Вышедшее в 1835 г. издание *«Ижорского»* вызвало ряд резких критических откликов с самых разных сторон. Но ни Белинский, ни И. И. Дмитриев не были осведомлены об авторе. А осведомленный О. И. Сенковский (напечатавший под псевдонимом несколько произведений Кюхельбекера) свою рецензию начал так: «Ижорский писался долго. Лет десять назад мы читали отрывки из него, подававшие большие надежды» (Цит. по: Тьянянов 1939: LXI).

Первая сцена мистерии, напечатанная в 1827 г., представляла героя, въезжающего в Петербург: герой только что выехал с последней перед Петербургом почтовой станции – из тех же Ижор (ср. реплику ямщика: «Скатилось солнышко, а не уступит ночи, / Как раз тебе заблещет Питер в очи!»). Ижорский, герой мистерии, после долгих скитаний «в странах роскошного Востока», приезжает в Петрополь, «на родину». Вокруг него возникает «рой невидимых духов», которые названы русскими именами: Кикимора, Шипимора, Бука и т. п. – они оспаривают друг у друга право воздействовать на душу героя. В последующих сценах, напечатанных в альманахе «Подснежник», действуют, в основном, те же «духи» («домовые»); в конце первого действия Ижорский выбирает, наконец, из них одного – Кикимору; функционально этот Кикимора родственен геттскому Мефистофелю...

* Первая сцена была напечатана: *Сын Отечества*. 1827. Кн. 1. С. 91–98; три следующие: *Подснежник*, 1829. С. 90–113.

Это обилие «духов» в новом произведении Кюхельбекера должно было напомнить Пушкину преждее, хорошо известное ему произведение приятеля – «драматическую шутку» *«Шекспировы духи»* (1825) – одно из первых произведений Кюхельбекера, вышедшее отдельной книгой. По представлению Кюхельбекера-драматурга, «духи», выведенные в драме наряду с земными персонажами, помогают понять состояние души героя, «поясняют происшествия и пророчат его действия» (Кюхельбекер 1967: II, 749). Те же «духи» в ранней «драматической шутке» были выведены с целью литературной полемики. В предисловии к книге автор отмечал: «Но мир поэзии не есть мир существенный: поэту даны во власть одни призраки; мой мечтатель, конечно, есть увеличенное в зеркале фантазии изображение действительного мечтателя» (Кюхельбекер 1967: II, 141).

Посвященная «побезному другу Грибоедову», «шутка» Кюхельбекера вывела довольно непритязательную ситуацию. Некий Поэт, радатель отвергаемого автором мечтательного романтизма, начитался Шекспира и видит «вкруг себя» одних бестелесных духов. Поэтому он отказывается писать что-либо для именин сестры. Тогда ее дети (Лиза, Аннушка и Катя), с помощью младшей сестры Юлии (взявшей на себя функции Феи из *«Сна в летнюю ночь»*) переодеваются духами (Ариэлем, Пуком и Обероном), а дядюшку Фрола Карпыча уговаривают переодеться Калибаном. Поэт принимает племянниц за духов, получает от них приказание написать стихи – и в конце концов всё открывается к общему удовольствию. Предназначенная для домашнего театра и исполнения актерами-детьми, эта комедия выполняла и литературно-poleмические цели. В духе своей статьи того же времени «О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие» Кюхельбекер сатирически обрисовывал «унылого» поэта-элегика.

Но, в духе той же статьи, где попутно замечалось, что и сам автор отдал немало дань элегическому романтизму, в комедии Кюхельбекера ирония, подчас, обращается на себя самого. «Кюхельбекер наделяет поэта своими собственными чертами – и своими собственными друзьями. Так в комедии возникают «барон» – Дельвиг, «Лев Савельевич» – Лев Сергеевич Пушкин, которые восторженно слушают сочиненную Поэтом элегию» (Кюхельбекер 1967: I, 56). В целом же возникал непритязательный розыгрыш совершенно в духе «волшебных» комедий Шекспира *«Сон в летнюю ночь»* и *«Буря»*.

Первоначальный экспромт Пушкина и Вульфа также явился в результате подобной же непритязательной детской игры, ориентированной не на Шекспира, а на Гете. Катенька Вельяшева (которой в начале 1829 г. еще не исполнилось 16 лет) получила роль невинной Гретхен, 23-летний Алексей Вульф – роль Фауста, а почти 30-летний Пушкин – роль Мефистофеля. Игра строилась на представлении о «чистой» любви: вряд ли Вульф (как пишет В. В. Вересаев) в данном случае имел цель «достигнуть интимных отношений отнюдь не платонического свойства» (Вересаев 1993: I, 348) – речь шла о ребенке, о родной кухне. Элемент «игривой» интимности, покоробивший некоторых присутствующих, был в данном случае извинителен и в соответствии с «условиями игры» означал перерождение недавней неловкой девочки – в кокетливую красавицу:

*Легкий стан, движений стройность,
Осторожный разговор,*

*Эту скромную спокойность
Хитрый смех и хитрый взор...*

М. В. Строганов в последнем стихе видит «черты, разрушающие монолит девственной красоты» (Строганов 1995: 171). Вряд ли, однако, Пушкин собирался «выстраивать» такой «монолит», имея в виду 15-летнюю девочку. Предпринятая им вместе с Вульфом «любовная игра» не могла переходить некоего «воспитательного» порога. «Хитрый взор» в данном случае такая же естественная данность, как «легкий стан», а «осторожный разговор» – не что иное, как попытка научить неопытную провинциальную девочку светскому разговору, дабы та умела противопоставить его слишком вольным действиям «волокиты». Ситуативным «покорителем сердец» в данном случае выступал как раз Алексей Вульф. А Пушкин, принявший на себя роль Мефистофеля, должен был неминуемо восприниматься неким учителем, ментором.

Показательно, что поэт позднее «много рассказывал» своей жене об этом эпизоде, вроде бы не опасаясь ее ревности, но всегда подсмеиваясь. Заехав в те же тверские поместья в августе 1833 г., он сообщает жене: «Назад тому 5 лет Павловское, Малинники и Берново наполнены были уланами и барышнями; но уланы переведены, а барышни разъехались; из старых моих приятельниц нашел я одну белую кобылу, на которой и съездил в Малинники; но и та уж подо мной не пляшет, не бесится, а в Малинниках вместо всех Анет, Евпраксий, Саш, Маш, etc., живет управитель Парасковии Александровны, Рейхман, который поподчивал меня пшнпсом. Вельяшева, мною некогда воспетая, живет здесь в соседстве. Но я к ней не поеду, зная, что тебе было бы это не по сердцу» (XV, 72–73). Пушкин как бы вновь продолжает ту же «любовную игру» – правда, заочно. Вельяшева вовлекается как бывшая «соперница» при выстраивании отношений с молодой женой...

В «драматической шутке» Кюхельбекера, написанной вольным ямбом, девочки, играющие «духов», изъясняются трехстопным хореем (этот размер повторяет «унылую» элегию, которую произносит Поэт). Аннушка (Ариель) так представляет весь «рой духов»:

*Эльфы от ветвей трепещущих
Сыплются, за роем рой!
Гномы скачут подо мной,
Феи вокруг меня порхают,
Сильфы молнией сверкают,
Льются, мотыльковый дождь!
Я духов любимый вождь:
К пляске я их устрою!
Над водой ли пролетаю –
Не зарябится струя;
Чистое лицо ручья
Подо мной не помутится;
Быстро вешний ветер мчится;
Но быстрее ветра я!..
(Кюхельбекер 1967: II, 160-161)*

Показательно, что в октябре 1829 г., работая над второй редакцией экспромта, Пушкин вводит туда «духов». Они возникают не сразу. Сначала вставка имеет такой вид: «Хоть повесой именован...», «Хоть меня повесой славит / Новоторжская молва...». Потом повеса превращается в ловласа: «Хоть молва ловласом славит / В Новоторжске и в...» (III, 719–720). И наконец, в окончательной редакции появляется вампир:

*Хоть вампиром именован
Я в губернии ***...*

М. В. Строганов предлагает видеть в этом упоминании вампира прежде всего быговую, «биографическую» основу: «...молва в «губернии Тверской» называет Пушкина человеком, опасным для неопытных девушек: «повесой» – «ловласом» – «вампиром». <...> Свой образ Пушкин предпочитает связывать не с героем сентиментального моралистического романа Ричардсона, но с «романтическим и безнравственным» Вампиром (из повести «*Вампир*» Дж. Байрона – Дж. Полидори – В. К.). Вампир этот и в самом деле «задумчивый»: он «грустно очарован» красотой Катеньки – Гретхен и – более того – несмотря на свою репутацию, не смеет и не хочет тревожить ее» (Строганов 1995: 170–171).

Исходя из этого, исследователь полагает, что Пушкин однозначно имеет в виду героя «повести, неправильно приписанной лорду Байрону» (VI, 193), который упомянут в третьей главе «*Онегина*» в ряду «Британской музыки неблищ», которые «тревожат сон отроковицы»: «задумчивый Вампир» (VI, 56) – в рукописях «таинственный Вампир» (VI, 578). Но ни эпитет «задумчивый», ни эпитет «таинственный» в применении к Вампиру-Пушкину никак не подходят для ситуации «любвонной игры» Вульфа – Пушкина – Вельшевой, происходившей на святках 1829 г. Поэт, как мы помним, исполнял в этой «игре» роль Мефистофеля, персонажа отнюдь не «задумчивого». Да и в характеристике того же Вульфа Пушкин никак не походит на Вампира, байроновского героя: «Пушкин говорит очень хорошо; пылкий пронизательный ум обнимает быстро предметы; но эти же самые качества причиною, что его суждения об вещах иногда поверхностны и односторонни. Нравы людей, с которыми встречается, узнает он чрезвычайно быстро; женщин же он знает, как никто. Оттого, не пользуясь никакими наружными преимуществами, всегда имеющими влияние на прекрасный пол, одним блестящим своим умом он приобретает благосклонность оного» (Вульф 1999: 72–73)

В обеих прижизненных публикациях пушкинского стихотворения *вампир* напечатан с «маленькой» (строчной) буквы (в отличие от Вампира в «*Онегине*»). Но если *повеса* или *ловлас* со строчной буквы выглядели совершенно естественными нарицательными понятиями, – то *вампир* в этом случае непременно должен был восприниматься прежде всего в его прямом значении: вурдалак, кровопийца. Именно таковым он должен явиться в мире «духов»: в данном случае *вампир* – это, скорее, условно литературный «сигнал», указывающий на источник.

Показательно и то, что в обеих публикациях этого стихотворения «губерния Тверская» (в черновике – именно так, хотя слово и не дописано) убрана под «необязательные» звездочки. Пушкин и здесь пытался уйти от возможности навязного биографического прочтения: сначала заменил Старицу соседним «Новоторжском», а потом и вовсе представил губернию «вообще». В сущности, здесь могла быть прочитана и «Псковская» губерния – как в черновиках «*Онегина*»:

*Но ты – губерния Псковская
Теплица юных дней моих
Что может быть, страна глухая
Несносней барышень твоих?
Меж ими нет – замечу кстати
Ни тонкой вежливости знати
Ни [ветрености] милых шлюх –
Я уважая русский дух,
Простил бы им их сплетни, чванство
Фамильных шуток остроту
Порою зуб нечистоту
[И непристойность и] жеманство
Но как простить им [модный] бред
И неуклюжий этикет (VI, 351)*

Речь идет о тех, кто «поименовал» поэта «вампиром» – о «барышнях». А «барышни» что в «губернии Псковской», что в «губернии Тверской» – мало одна от другой отличаются. Ставя «звездочки» в названии губернии, Пушкин декларирует отход от собственно биографических данностей: *вампиром* его (лирического героя) вполне могли бы поименовать «в губернии *любой*» – не в названии дело...

С точки зрения риторики пушкинское стихотворение – развернутая уступительная конструкция: «Хоть я» уехал – всё равно памятная «игра» повторится: «Через год опять заеду / И влюблюсь до Ноября». Последнее слово, в отличие от «вампира», дано с прописной буквы: поэт привлекает к нему внимание как к элементу заданной «игры»: нельзя же всерьез назначать точный месяц окончания будущей влюбленности!

Развернутой уступительной конструкцией с иронической семантикой является и «драматическая шутка» Кюхельбекера: поэт, отказывавшийся поздравить сестру, в финале предлагает собравшимся прослушать его «беглое творенье» про тех же «бесплотных духов». Пушкин, получивший в начале декабря 1825 г. в Михайловском эту комедию, вовсе не пришел от нее в восторг. В письме к Плетневу он заметил: «Кюхельбекера Духи – дрянь; стихов хороших очень мало; вымысла нет никакого» (XIII, 249). В письме же к самому Кюхельбекеру высказался более мягко и представил спокойную критику, в которой тоже указал на недостатки («характер Поэта», «небрежные» и «не всегда натураль-

ные» стихи и т. д.). Но здесь же выделил образ Калибана (Фрола Карпыча) и те эпизоды, «где поэт бредит Шекспиром». Указал и на ряд смешных выражений в «шутке» Кюхельбекера: «Пас стада главы моей (вшей?)» (XIII, 247-248).

Выражение, насмешившее Пушкина, взято из текста той «элегии», которую сочиняет Поэт:

*Мне ли в суетах, в волнении,
Мне ли жить между людей?
Я всегда в уединении
Пас стада главы своей,
Вас, созданья вдохновения,
Сны, и грезы, и видения!*
(Кюхельбекер 1967: II, 156).

Непосредственно после этих «стад главы своей» появились девочки, переодетые «духами» («О духи! появьтесь мне!») – и начиналась комедийная «игра», ставшая, собственно, содержанием всей «шутки». Эта шутка совершенно естественно запомнилась Пушкину еще и потому, что стала фактически последним литературным «приветом» от Кюхельбекера, пришедшим к Пушкину как раз накануне 14 декабря, – «бывают странные сближения».

Потом имя лицейского приятеля Пушкина стало опасно помянуть всуе. Но судьба подарила Пушкину еще одну встречу с ним в октябре 1827 г. – результатом этой встречи стало стихотворение, напечатанное в цикле «*Разных годов*» под номером IV («*Бог помочь вам, друзья мои...*»). Стихотворение чудом появилось в печати – но до Кюхельбекера в Динабургскую крепость, вероятно, не дошло.

В 1829 г. таким же «чудом» в альманахе «*Подснежник*» появились три следы из кюхельбекерова «*Ижорского*» и несколько его стихотворений. Стихи были напечатаны без подписи, но одно из них прямо указывало на автора. Это было очень трагическое по смыслу стихотворение под заглавием «19 октября 1828 года». Заглавие прямо указывало, кто автор этих горьких строк:

*Ты празднуешь ли день священный,
День, сердцу братьев незабвенный?
Моих друзей далекий круг!
Вспомнит ли в сей день священный,
В день, сердцу братьев незабвенный,
Меня хотя единый друг?
Или судьба меня лишила
Не только счастья – и любви?
И не взяла меня могила,
И кончились дни мои?*

(Кюхельбекер 1967: I, 214–215).

Этот выпуск «*Подснежника*» (цензурное разрешение: 9 февраля) появился весной 1829 г. Публикацией в «*Северных цветах на 1830 год*» шутливого экс-промта Пушкин должен был публично напомнить «лишенному имени» Кюхель-

бекеру о том, что друзья любят его – и помнят. В этой публикации «Ижоры» упоминались дважды: в первом стихе и в конце – как указание на место написания. На дату в стихотворении Кюхельбекера указывал и фиктивный год написания – 1828. В альманахе стихотворение имело заглавие: «К***» – и воспринималось как традиционное и безобидное послание. Помещая его в состав цикла, Пушкин прежде всего снял заглавие, лишив тем самым стихотворение внешних примет послания.

В самом деле, это никакое не послание – и уж тем более не любовное послание к «красавице». Куда, собственно, направляется путешественник («я»), подъезжающий «под Ижоры» – из Петербурга или в Петербург? Скорее всего, он въезжает в Петербург, где готовится окунуться в «хмель светской суеты» и, соответственно, позабыть «ваши милые черты»... Традиционная семантика любовного признания разрушаются: скорее всего, «под Ижорами» этот самый «я» вспоминает о покинутой «красавице» в последний раз! На этот показатель «вероятного» забвения наслаиваются еще и моменты прошедшей любовной «игры». При этом ничего значимого в «игре»-то, собственно, и не было: ни «колев» не преклонил, ни «влюбленными глазами» не потревожил... Всё это – да еще с обещанием в будущем («через год») повторения столь же «срочной» влюбленности («до Ноября») – разрушает саму структуру послания и «признания»: ни от того, ни от другого, в сущности, ничего не остается.

Остается только не имеющее никакого сущностного значения упоминание Ижор, путем несложной ассоциации связанное с воспоминанием об Ижорском-Кюхельбекере. Не случайно в сознании Пушкина, это стихотворение так и закрепилось: «*Под Ижоры*».

ЛИТЕРАТУРА

- Вересаев В. В.
1993 *Спутники Пушкина*, т. 1. Москва.
- Вульф
1999 *Любовные похождения и военные походы А. Н. Вульфа: Дневник 1827–1842*. Тверь.
- Жуйкова Р. Г.
1996 *Портретные рисунки Пушкина: Каталог атрибуций*. Санкт-Петербург.
- Колосов В.
1888 *А. С. Пушкин в Тверской губернии*. Тверь.
- Кюхельбекер В. К.
1967 *Избр. произведения в 2 т.*, т. 2. Москва – Ленинград.
- Пушкин
1928 *Письма*. Под ред. и с прим. Б. Л. Модзалевского. Т. II. Москва – Ленинград.
- Рукою Пушкина: Несобранные и неопубликованные тексты.
1935 Москва – Ленинград.
- Смирнов-Сокольский Н. П.
1962 *Рассказы о прижизненных изданиях Пушкина*. Москва.
- Строганов М. В.
1995 «...Вампиром именован...». *Легенды и мифы о Пушкине*. Сб. статей. Санкт-Петербург.
- Тынянов Ю. Н.
1939 В. К. Кюхельбекер. *Кюхельбекер В. К. Лирика и поэмы*. Ленинград.

ДАУГАВПИЛССКИЙ ЦЕНТР РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ
(ДОМ КАЛЛИСТРАТОВА)

ДАУГАВПИЛССКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И КУЛЬТУРЫ

СЛАВЯНСКИЕ ЧТЕНИЯ

III



ИЗДАТЕЛЬСТВО ЛАТГАЛЬСКОГО КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА
ДАУГАВПИЛС-РЕЗЕКНЕ 2003